



Н. В. ДАВЫДОВ

Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве

Имея в виду в ближайшем будущем изложить мои воспоминания о князе С. Н. Трубецком и мысленно переживая то прошлое, которому он был близок, я вижу отчетливо рядом с ним покойного друга его, философа Владимира Сергеевича Соловьева, внутренний и внешний облик которого у каждого, кто его знал, не мог не остаться рельефно врезанным в памяти. Высокий (в сущности, лишь казавшийся высоким), тонкий, изящный, с головой пророка и бледным красивым лицом, обрамленным длинными, спадавшими волосами, он напоминал Иоанна Крестителя на картине Иванова¹ и производил взлядом больших, казавшихся синими глаз своих, блестящих иной раз в беседе вдохновением, поразительное впечатление. Нельзя было усомниться, увидав Соловьева, что перед вами особый человек — пророк, гениальный поэт. На нем лежала печать высшей духовной силы и одаренности; не показалось бы невероятным, если бы вокруг его лба засияли лучи. Таким был Соловьев, когда я после долгого перерыва встретил его вновь, уже зрелым мужем, в Москве у Трубецких; но я помню его еще совсем юным, студентом, еще не установившимся, ищущим, но уже и тогда обещавшим выйти на особую дорогу, осветив ее своим дарованием.

Я был товарищем по университету со старшим братом Владимира Сергеевича, Всеволодом, автором — впоследствии — нескольких охотно читавшихся в свое время большою публикою исторических романов, и хорошо помню отца его, С. М. Соловьева, лекции которого по русской истории мне пришлось слушать на первом курсе юридического факультета, лекции, полные интереса, читавшиеся им торжественно, громким звучным голосом, почему-то прервавшиеся со второго семестра. Несколько раз я встречал его и вне университета (в шестидесятых годах), а именно летом в подмосковной дачной местности около деревни Ивань-

ково и великолепной усадьбы княгини Шаховской. Встречал я его в тамошнем парке гуляющим неизменно со своей семьей — важного и величавого, красивого старца с белой бородой, производившего впечатление удивительного спокойствия и уравновешенности. С Вл. С. я познакомился у Ф. Л. Соллогуба в начале семидесятых годов. Обоих этих талантливых людей, тогда еще совсем молодых, столь разных, казалось бы, по воззрениям, по отношению хотя бы к религии, ко всему мистическому, по самой их жизни и интересам, связывала большая дружба, выросшая на почве какой-то общности даже в их разномыслии; общность эта, очевидно, происходила от склонности обоих ко всему художественному, к фантастике, к поэзии в особенности, и от потребности в создании поэтических образов в стихотворной форме и в таком же творчестве, но юмористического характера — в духе Козьмы Пруткова, которым оба одинаково восхищались. Оба написали небольшие стихотворения под заглавием «Чем люди живы»; в них, несмотря на указанное уже мною коренное различие мировоззрения авторов, тоже чувствуется некоторая общность. Стихотворение Соллогуба «Чем люди живы» приведено мною в очерке, посвященном ему (в первом томе моей книги «Из прошлого») ²; начало его таково:

Люди живы красотою,
В Божьем мире разлитою:
Струн природы хором стройным,
Солнца светом — полднем знойным,
Вешних вод веселым плеском,
Снега девственного блеском,
Девы ясными очами,
Звезд мерцающих лучами,
Сердца сладким замираньем,
Милых уст живым лобзаньем...

А вот два первых четверостишия хранящегося у меня в подлиннике наброска Соловьева на ту же тему:

Люди живы Божьей лаской,
Что на всех незримо льется,
Божьим словом, что безмолвно
Во вселенной раздается.
Люди живы той любовью,
Что атом к атому тянет,
Что над смертью торжествует
И в аду не перестанет... ³

Соллогуб написал интереснейшую поэму, придав ей драматическую форму, «Соловьев в Фиваиде» (содержание и отрывки поэмы приведены в первом томе моей книги), к сожалению не

закончив ее, и в этой «мистерии» изобразил борьбу дьявола с Соловьевым и победу последнего. Поэма, талантливо написанная, интересная по массе художественных мелочей и остроумных подробностей, во всем, что касается главного ее содержания — то есть борьбы Соловьева с духом зла, — изложена в шуточной, юмористической форме, представляет из себя как бы карикатуру на Соловьева в его вере в реальное существование дьявола, а между тем Вл. С., убежденно говоривший о дьяволе как о чем-то действительно существующем, очень оценил поэму Соллогуба, жалел, что она не закончена, и распространял ее между знакомыми. У меня хранится письмо Вл. С. к одной его хорошей знакомой, в котором встречается такое место:

Соловьева в Фиваиде
Вам списали в лучшем виде
В черную тетрадь.

Иронизирование Соллогуба над борьбой Соловьева с дьяволом не только не огорчало его, но, напротив, сближало с Соллогубом, который, в противоположность Вл. С., не веря в духовную сторону «спиритизма», охотно посещал спиритические сеансы и дружил с медиумами, профессионалами и дилетантами, интересуясь технической стороной дела, тем, как эти господа производят те и другие явления. Соловьев, напротив, допуская шарлатанство и обманы со стороны медиумов, не сомневался, однако, в возможности реального проявления сношений духовного мира с нашим и сам на себе не раз испытывал такое проявление. Соллогуб писал, например:

Настал полночи час...
Забыли черти нас!
Стоит недвижим стол,
Не слышно стука в пол.
Сел «некто» на диван,
И стукнуло в стакан —
Слуга то невзначай
Им двинул, ставя чай.
«Увы, внутри столов
Нет больше дьяволов!»

Соловьев не раз говорил, что иногда ему приходится, когда он остается один в комнате или даже при других, явственно слышать легкие удары в окружающие его предметы, не производимые находящимися тут же или недалеко лицами. С. Н. Трубецкой рассказывал мне, что раз, когда он вдвоем с Соловьевым ужинал в общей зале какого-то ресторана, Вл. С. во время оживленного разговора, внезапно побледнев, откинулся, замолчав, на спинку стула и так пробыл некоторое время с закрытыми глаза-

ми, как бы в бессознательном состоянии. С. Н. не нарушил его, а когда Соловьев раскрыл глаза и «ожил», он сообщил, что ему представилось видение — кто-то несуществующий приходил к нему. Было так, что Соловьев верил в ближайшее соседство надземного мира, а Соллогуб не только не верил, но иронизировал над этим и выставлял Соловьева в смешном виде, а между тем они в совершенстве понимали друг друга и очень любили быть во взаимном обществе.

Соловьев обладал в молодости сердцем, отдававшимся порою чувству любви, именуемой платонической; Соллогуб тоже, со своей стороны, легко увлекался, но он не признавал исключительно духовной близости с женщиной и доказывал, опираясь на природу человека, в равной степени обладающего духовными и физическими наклонностями, необходимость в настоящем чувстве любви единения обеих сторон человека — духовной и физической. В этом они опять радикально расходились, и Соллогуб опять-таки не воздержался от стихотворного выпада в сторону Соловьева, написав следующее:

Подражание Фирдоуси
(*Посвящается Вл. С. Соловьеву*)

Параспати: Где же? Осмелюсь спросить
высокопоставленного господина моего?
За пределами сущего...

Из санскритской драмы «Облако мысли»

Небольшие стаи кряковых уток оконча-
тельно разбиваются на пары, поднимаются и
делаются смиреннее.

Аксаков. Записки охотника

Не унывай, певец! Омойся, остригися!
И тусклый свой сапог вновь лаком наведи.
Для лиры новою струной обзаведися
И песни новые на новый лад веди.
Не для тебя зима, не для тебя морозы,
Певцам не суждена холодной ночи мгла,
Для них цветут весь год в садах Багдада розы,
И сладкий им шербет красotka припасла.
С высокой грудью, с очами антилопы,
Она весь день толчет и мнет рахат-лукум.
Ты юной деве в честь — весь день скандируй стопы
Под сладкой ступки стук и лавра легкий шум.
В тени зеленых роц и благовонных кущей
Пускай она толчет! И ты ей пой да пой,
Пока толкомое не станет сладкой гущей,
Доколь певомое не станет чепухой.

Достигнувши сего — печали позабывший,
 Хватай ее, о друг, бестрепетной рукой
 И, жизни тайный смысл ей трепетно прививши,
 Ты вкусишь творчества торжественный покой.

Соловьев, получив это стихотворение, много смеялся, так же как над рисунком Соллогуба, на котором Вл. С. изображен в виде воспетого самим же Соловьевым пророка, одетого в мантию из двух рогожек, окруженного недоумевающими собаками, между тем как к нему, видимо в видах ареста пророка, перелезает через забор городской. Стихотворение, о котором я говорю, напечатано, но я напомню его читателям этого очерка.

Пророк⁴

Угнетаемый насилием
 Черни дикой и тупой,
 Он питался сухожилием
 И яичной скорлупой.

Из кулей рогожных мантию
 Он себе соорудил
 И всецело в некромантию
 Ум и сердце погрузил.

Со стихиями надзвездными
 Он в сношения вступал,
 Проводил он дни над безднами
 И в болотах ночевал.

А когда порой в селения
 Он задумчиво входил,
 Всех собак в недоумение
 Образ дивный приводил,

Но органами правительства
 Быв без вида обретен,
 Тотчас он на место жительства
 По этапу водворен³.

Рисунок Соллогуба достоинствами своими не уступал стихотворению, его вдохновившему, а это произведение юмористической музыки Вл. С. нельзя не признать классическим по отделу подобных творений. Оно было написано Соловьевым, кажется, по поводу бывшего с ним эпизода, закончившегося тем, что его было арестовали в Петербурге, — поехав туда, он забыл захватить паспорт, и его выручил из беды близкий ему князь А. Д. Оболенский⁵, занимавший в то время видный пост в Петербурге.

И С. Н. Трубецкой и Ф. Л. Соллогуб отличались рассеянностью и малою заботою лично о себе и мелких удобствах жизни, а

Соллогуб до кончины не знал, как велики его материальные средства, и не придавал никакого значения деньгам. Но эти черты нашли свое полное развитие именно в личности Вл. С. Он нередко совершенно забывал о том, что нормальные люди каждодневно и регулярно обедают, а в большинстве еще и завтракают или ужинают, и питался чем и как придется, пропуская в этом отношении даже сутки и больше. Соловьев поступал так вовсе не по соображениям аскетизма — аскетом он не был и с точки зрения принципа не считал нужным избегать вкусной кухни и тонких напитков, но *потребности* в баловстве подобного рода он не ощущал и отсутствие удобств жизни его не беспокоило. К деньгам он относился тоже очень своеобразно: средства Соловьева были весьма ограниченные, он жил почти исключительно литературным заработком. Но, когда он получал гонорар, то есть становился временным обладателем некоторой денежной суммы, он тратил деньги, как будто капиталу его не было пределов и он — прирожденный богач. Совсем не любовь к роскоши или желание произвести впечатление тратами руководили тут Вл. С., а скорее чувство ничтожества денег, пренебрежение к власти их и самая простая мысль — раз есть деньги, надо их тратить, ибо таково их назначение. Просившему у Соловьева денег займы или прямо в виде дара и помощи — если Вл. С. был в этот момент «богачом» — не бывало отказа, и, конечно, при таких условиях материальная обеспеченность Вл. С. длилась недолго.

Не подлежит сомнению, что образ жизни Соловьева — он прожил жизнь холостяком, — напоминавший существование пророка, описанного в приведенном мною стихотворении (одежда из рогожи, питание — яичная скорлупа и ночлег — болото), содействовал зарождению и развитию в нем болезней, сведших его преждевременно в могилу. Он не обращал никакого внимания на случившееся с ним нездоровье, сам никогда к врачебной помощи не обращался, а к тому же жил, не считаясь с нормальными, здоровыми условиями жизни. Едва ли когда-либо он провел целую ночь во сне; обычно он работал — а читал и писал Вл. С. невероятно много — ночью, уснув немного лишь с вечера. Слабый на вид организм его как будто не знал утомления, физическая сторона его побеждалась в полной мере духовной, и Вл. С. действительно не замечал усталости и не обращал на нее внимания, как и на другие физические явления и ощущения, с которыми на самом деле ему, при малейшей заботе о себе, было бы необходимо считаться.

Вл. С. — несомненно, первый по значению в науке русский мыслитель, хотя сущность его заключалась именно в философии

и религиозной вере, — был в жизни, в промежутках между работой, человеком общительным, оживленным, любившим общество и охотно проводившим время в кругу друзей за веселой беседой, в которую он вносил свойственный ему юмор и фантазию. Он охотно бывал в дамском обществе, вел с друзьями обоего пола большую, оживленную переписку, в высшей степени интересную и остроумную, наполняя письма небольшими стихотворными экспромтами; его ценили поэтому не только в «академической» среде между профессорами и учеными, но в разнообразных слоях общества, поэтому у Вл. С. было много друзей, особенно же знакомых, и в Петербурге, и в Москве, но, хотя он чаще жил в Петербурге, симпатизировал он больше московской жизни и часто бывал в Москве. Особенно близкими ему людьми были москвичи — профессора Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой, В. С. Преображенский и Грот. У Вл. С. легко было вызвать смех, а смеялся он очень громко и долго, почти истерично, о чем даже предупреждал, бывая где-нибудь в семейном доме в первый раз.

В 1896 г. Вл. С. читал у С. Н. Трубецкого по только что законченной им рукописи свои «Три разговора» — произведение, в котором он полемизирует с Л. Н. Толстым, с которым он всегда ярко расходился в воззрениях. Мне думается, что это расхождение с Толстым зависело у обоих писателей от радикального различия их натур; оно образовалось первоначально скорей под влиянием чувства, чем строгой умственной посылки, которая уже являлась потом, чтобы подкрепить, подыскав нужные положения, почувствованное. Соловьев — мистик, верующий поэт, испытывавший явления «видений», слышавший вокруг себя необъяснимые звуки, — *не мог* быть единомышленником Толстого-реалиста, отвергающего все «чудесное», все не принимаемое его разумом. Но для меня, в самой их глубине, оба они были люди одной веры, всю свою жизнь отдавшие исканию истины и служению добру.

Кроме супругов Трубецких при чтении Соловьевым его произведения присутствовали я и Л. М. Лопатин. По окончании (кажется, чтение длилось два вечера) и по поводу его возникли, конечно, прения, и я — прирожденный толстовец — потщился было отстаивать перед тремя философами взгляды Льва Николаевича, но эта смелая попытка очень быстро окончилась совершенным разгромом выдвинутых мною положений, и я, побежденный, но не убежденный неотразимыми доводами моих противников — они же друзья, — замолчал.

Последнее мое свидание с Вл. С. состоялось при очень странной обстановке, дней за десять с небольшим пред его кончиной.

Это было 15 июля 1900 года. Я тогда еще состоял председателем Московского окружного суда и оставался без семьи, один в Москве, в ожидании моего ваканта, начинавшегося 17 июля. С. Н. Трубецкой лето это проводил с семьей в Узком — подмосковном имении единокровного брата своего П. Н. Трубецкого, который был в то время за границей. Еще накануне я по телефону, имеющемуся в Узком, сговорился с Трубецким о том, что приеду к нему 15-го в Узкое, отстоящее от Москвы верстах в 14, обедать часам к пяти.

Вернувшись домой из окружного суда в третьем часу, я заметил, что в передней на вешалке кроме моего пальто висит чья-то «разлетайка». На вопрос мой, кто это у меня, старый и добродушный слугитель мой Иван невозмутимо ответил: «Не знаю, больной какой-то», а на вопрос: «Да где же он?» — объяснил: «В кабинете вашем лежит, конечно». На восклицание мое, как же это ты пускаешь ко мне в кабинет незнакомых больных, Иван ничего не ответил, и я отправился в кабинет. Там, на широком и низком диване, действительно лежал незнакомец, обернувшись лицом к стене и так положив голову на принесенную ему Иваном с моей постели подушку, что я лица его не мог разглядеть, но заметил только, что незнакомец был коротко острижен. Я постоял над ним, кашлянув, что-то громко сказал, но лежавший человек молчал и не менял позы. Я совершенно растерялся, не зная, что надо в подобных странных случаях делать (не караул же кричать!), но в это время больной обернулся, взглянул на меня, и я узнал в нем Владимира Сергеевича.

Он очень изменился, что зависело главным образом от того, что он состриг обычно длинные волосы свои, а кроме того, он был смертельно болен. На вопрос, что с ним, Вл. С. ответил, что сейчас чувствует морскую болезнь и что ему надо немного отлежаться, а что завернул он ко мне, приехав нынче из Петербурга, так как в редакции журнала «Вопросы философии и психологии» ему сказали, что я еду нынче к Трубецкому, куда он просит и его захватить. Я, конечно, согласился, но Вл. С. был настолько плох на вид, что я усомнился в возможности везти его в Узкое и отправился на телефон, чтобы спросить у Трубецкого совета. С. Н. ответил, что если у Соловьева тошнота и головокружение, то его можно везти, что такие явления у него бывают нередко как результат малокровия мозга. Я предупредил Трубецкого, что мы запоздаем, и пошел к Соловьеву; он продолжал лежать, пил глотками содовую воду, иногда словно забывался, но через мгновение уже болтал, сообщив мне между прочим, что получил в редакции «Вопросов» аванс, чему чрезвычайно рад, так как это

компенсирует полученную в день именин (15 июля — празднование св. Владимира) болезнь; это он даже передал в форме четверостишия, которое я, к величайшему сожалению, не записал и забыл. Время шло, а Вл. С. просил дать ему еще полежать; уже было больше пяти часов, и я предложил Соловьеву, отложив поездку в Узкое, остаться и переночевать у меня, а к Трубецкому отправиться завтра. Но он ни за что не соглашался отложить до следующего дня посещение Трубецкого и наконец объявил, что так как я, по-видимому, не хочу ехать, то он отправится один. При этом Вл. С. действительно встал и отправился, плохо стоя на ногах от слабости, в переднюю. Оставить его силою у себя я не решился и предпочел везти Вл. С. в Узкое. Других, кроме связки книг, вещей с ним не было, и остановился ли он где-либо в Москве, я от него добиться не мог; он повторял упорно только одно: «Я должен нынче быть у Трубецкого».

Я нанял лихача и не без труда помог Вл. С. влезть в пролетку, которую пришлось закрыть, так как начинал накрапывать дождь. Когда мы вышли на крыльцо, к Вл. С. подбежал нищий и бросился целовать его руки, приговаривая: «Ангел Владимир Сергеевич, именинник!» Соловьев вынул из кармана не глядя и подал нищему какой-то скомканный кредитный билет, объяснив, что это его собственный нищий, который всегда предчувствует время его приезда в Москву и, где бы он ни остановился, безошибочно находит его.

Этот нищий и поднесь существует, пребывая всего чаще около крыльца дома Л. М. Лопатина или около церкви Покрова в Левшине; он одет довольно чисто и прежде носил фуражку с красным околышем; у него седая борода, и он нередко бывал трезв; между нашими общими знакомыми он известен как «Соловьевский нищий».

Поездка наша в Узкое была не только тяжела, но прямо кошмарна; Вл. С. совсем ослабел, и его приходилось держать, а между тем движение пролетки возбудило в нем вновь морскую болезнь; дождь усилился и мочил наши ноги, и стало благодаря ветру холодно. Ехали мы очень тихо, так как на шоссе растворилась липкая грязь, и пролетка скользила набок, и было уже темно. В одном месте дороги Вл. С. попросил остановиться, чтобы немного отдохнуть, добавив: «А то, пожалуй, сейчас умру». И это казалось, судя по слабости Вл. С., совершенно возможным. Но вскоре он попросил ехать дальше, сказав, что чувствовал то самое, что должен ощущать воробей, когда его ощипывают, и прибавил: «С вами этого, конечно, не могло случиться». Вообще, несмотря на слабость и страдание, в промежутки, когда ему

делалось лучше, Вл. С., как всегда, острил, поднимал самого себя на смех и извинялся, что так мучает меня своим нездоровьем.

Приехали мы в Узкое поздно; Соловьев был так слаб, что его пришлось из пролетки вынести на руках. Его тотчас же положили в кабинете на диван, и он, очень довольный, что добрался все-таки до Трубецких, просил, чтобы ему дали покойно полежать. Трубецкой продолжал еще думать, что болезненное состояние Вл. С. — обычный припадок его малокровия мозга, но на следующее же утро выяснилось, что положение Вл. С. гораздо серьезнее и тяжелее.

Я эту ночь провел тоже в Узком и утром виделся с Вл. С., который, хотя продолжал лежать, уговаривал меня не ехать, как я собирался, на другой же день к себе в деревню, а подождать немного, пока он поправится, и отправиться вместе с ним к нашим общим друзьям Мартыновым. Трубецкому Вл. С. передал, что этою ночью он видел во сне, но совершенно явственно, Лихунчана⁶, который на древнегреческом языке сказал ему, что он вскоре умрет. Соловьев в это утро не был в забытии, он даже весело острил, но память его уже изменяла, и он, например, не мог вспомнить, где он, приехав в Москву, оставил свои вещи, оказавшиеся потом в «Славянском базаре». Мне в это же утро надо было вернуться в Москву, чтобы в суде сдать должность моему заместителю на время летнего ваканта, и я уехал из Узкого, не дождавшись явки врача, за которым послали Трубецкие. Провожая меня, Прасковья Владимировна Трубецкая сказала, что она уверена, вопреки мнению С. Н., что Соловьев не поправится; при этом она вспомнила, что как-то, расставаясь с Вл. С., она сказала ему «прощайте», но он поправил ее, сказав: «Пока до свидания, а не прощайте. Мы, наверное, еще увидимся, я перед смертью приеду к вам». Несознаваемым предчувствием Вл. С. смерти она объясняла такое упорное стремление его добраться к Трубецким, ибо ни экстренного, ни простого дела у него в то время к С. Н. не было.

Оставив Узкое, я был вынужден по своим делам на следующий же день уехать в деревню, но успел узнать от Трубецких, что врач нашел положение Вл. С. очень тяжелым, а болезнь его даже затруднялся определить, так как, казалось, все жизненные органы Соловьева находятся в очень плохом состоянии; но наиболее рельефно определялась болезнь почек. Как известно, Вл. С., проболев в Узком у Трубецких дней 14, скончался там, причем почти все время находился в состоянии забытья и галлюцинировал.

